

# Карл Кантор. Сияющая высота словесности<sup>1</sup>

О сатирико-дифирамбическом, трагико-комическом, эпико-лирическом и художественно-научном повествовании «Зияющие высоты» и о его авторе Александре Александровиче ЗИНОВЬЕВЕ.

Все, что связано с этой книгой, невероятно — и сама она, и то, кем и когда она была написана, и как, в каких условиях писалась, и где впервые была напечатана, и какое впечатление она произвела на родине и за рубежом, и какими последствиями обернулась ее первая публикация для автора. Я употребляю слово «невероятно» не как вялый эвфемизм салонного «превосходно», а в его буквальном значении, ибо вероятность появления такой книги, такого автора была действительно близка к нулю. Книга возникла наперекор всем социальным, житейским, даже возрастным противодействиям и ограничениям, всем детерминациям и вероятностям, ибо вероятность есть также форма закономерности. Она явилась утверждением свободы не как осознанной необходимости, но как осознанного преодоления необходимости, по крайней мере социальной, в творчестве и в жизненной практике.

Невероятным было уже то, что «Зияющие высоты» явились литературным дебютом пятидесятичетырехлетнего автора, что он не был ни профессиональным писателем, ни человеком литературной среды. Казалось, жизненный путь Александра Зиновьева определился счастливо. И дело не в том, что он давно уже был доктором философских наук и профессором, заведовал сектором в Институте философии АН СССР и кафедрой на философском факультете МГУ, был членом редакционной коллегии журнала «Вопросы философии», — его судьбу я называю счастливой, потому что он занимался тем, чем хотел, что философия была для него не средством заработка и социального престижа, а призванием, и в ней он достиг замечательных успехов на зависть осыпанным наградами и почестями маститым философским прислужникам идеологии. Зиновьев разработал самостоятельную систему многозначной логики, создал свою научную школу. Западные специалисты зачислили его в десятку крупнейших логиков мира. К нему тянулось все живое, что было в нашей философии. Из брошенных им мимоходом идей — в разговорах, на конференциях — изустные плагиаторы «делали» оригинальные статьи. Отдельные главы кандидатской диссертации А. Зиновьева его ученики — из наиболее одаренных — развернули в книги.

Что же заставило А. Зиновьева столь круто повернуть свою судьбу? Ответ на этот вопрос содержится в «Зияющих высотах» и почти в тридцати на сегодняшний день других его книгах (так что его поздний литературный «дебют» не стал, как многие ожидали, его «эндшпилем»). Я же, близко знающий Александра Зиновьева более сорока лет, остановлюсь лишь на некоторых фактах его биографии и отмечу некоторые черты «З. В.», что, может быть, окажется бесполез-

<sup>1</sup> Октябрь, № 1, 1991.

ным для постижения «феномена Зиновьева». А то, что он почти чудесный человеческий феномен, я понял в первые же дни нашего знакомства на философском факультете в 1947 году. Еще в сельской школе Саша поразил своего учителя неумемной любознательностью и одинаковым пристрастием к литературе и математике. Напутствуемый этим добрым человеком, поверившим, что его воспитанник — новый Ломоносов, Саша поехал учиться в Москву и здесь, среди столичных ребят, быстро выделился не только медалями на математических олимпиадах и талантливым подражанием Чехову (первый рассказ «Ванька»), но и таким пониманием социальной действительности, которая оказалась недоступной многим даже умудренным опытом взрослым.

Ребенком переживший коллективизацию в родной деревне под Чухломой и позднее, приезжая каждое лето в колхоз помогать матери, в Москве живший в сыром подвале «в холоде, голоде и нагоде», Александр видел чудовищный разрыв между идеалами и действительностью. Разрыв, особенно нестерпимый потому, что эти идеалы объявлялись уже воплощенными в жизнь. «Социализм в нашей стране в основном уже построен», — провозгласил вождь всех времен и народов. Ложь была преднамеренной, всенародной и, казалось бы, очевидной. Московские соученики Александра — да и только ли они одни! — поверили обману. Саша стал рассказывать своим школьным друзьям о подлинном положении деревни. Опечаленные одноклассники, которые очень любили Сашу, — заводилу, весельчака, отличника, написали на него донос в КГБ, прося повлиять на своего товарища, помочь ему избавиться от заблуждений. Так состоялось первое знакомство Александра Зиновьева с органами, так он впервые узнал, что такое искренняя дружба в понимании полностью социализированных и идеологизированных советских юношей и девушек («Новая советская мораль»).

По сравнению с жизнью в московских подвалах («Бесконечный голод. Грязь. Поношенная одежда»), в тюрьме оказалось даже лучше: «В первый раз у меня была своя койка и я ел три раза в день из собственной миски». Когда он рассказал об этом в одном из своих интервью на Западе, ему не поверили. А некоторые обвинили в апологии сталинских тюрем. «Все, что я попытался сказать, — пояснял им Александр Александрович, — заключалось в следующем: как тяжелы были условия жизни свободного человека, если даже тюрьма казалась ему благом». О колхозе в той же автобиографии писателя сказано: «Условия жизни и труда там мало чем отличались от концентрационных лагерей». И тем не менее, предпочитая свободу любым материальным «благам», предоставлять свое тело и душу «воспитателям» из тогдашней живодерни Александр не собирался. Когда два гебиста выводили его из здания на Лубянке, чтобы доставить в Бутырки, Александр воспользовался привычным доверием палачей к своей жертве: «Минутку подождите» — и был таков. Объявили всесоюзный розыск. Напрасно. Александр не вернулся ни в московский подвал, ни в деревню. Стал скитаться по стране. Год спустя, не дожидаясь срока призыва, где-то далеко от Москвы записался добровольцем в Красную Армию. А потом была Отечественная война. Воевал и кавалеристом, и танкистом, и, пройдя ускоренный курс обучения в авиаучилище, летчиком-истребителем. Получал боевые награды. Не надеялся вернуться с войны живым. Себя не жалел. И тем не менее после колхозной военная страда не показалась особенно тяжелой. «Социалистические отношения» в армии, на фронте были слегка поколеблены, но в общем-то сохранились. Это было и благом, и бедой, причиной побед и поражений. В училище и на фронте, когда передышки затягивались, Александр «гусарил». В армии он стал чем-то вроде Теркина, только шутки его были иные, не столь безобидные. Он сочинял эпиграммы, сатирические стихи, песенки, поговорки, анекдоты, в которых высмеивал не только противников, «фрицев», но и своих, «Иванов», — всю изнанку фронтовой, армейской жизни. Таких, как Теркин, в армии было немало. Но, пожалуй, еще больше таких шутников, как Зиновьев. Он был лишь одним из тысяч создателей армейского, фронтового фольклора — не только героического, но и сатирического, безоглядно смелого, высмеивающего святыни официальной идеологии. Фольклора неподцензурного, к сожалению, до сих

пор не собранного, а между тем содержащего такую правду о войне, об армии, а стало быть, и о нашем строе вообще, какую не сыщешь ни во фронтовых документах, ни в художественной литературе о войне, ни в мемуарах военачальников. Зиновьев понимал ценность армейского фольклора и насытил им свои книги.

Войну Александр Зиновьев закончил в городе Моцарта—Вене. (Один из исследователей творчества автора «З. В.» назвал его «Моцартом социологии».) Из Австрии Зиновьев привез чемодан, набитый рукописями. Одну из них, повесть о войне, он показал двум известным писателям — Константину Симонову и другому, который из «самых лучших побуждений», конечно (как когда-то его школьные товарищи), донес на него в те же инстанции. К счастью, К. Симонов был первым читателем. Ему повесть настолько понравилась, что он посоветовал ее уничтожить немедленно вместе со всем остальным, написанным в этом роде. Поэтому, когда пришли к Зиновьеву с обыском, найти ничего не смогли. Но на заметку взяли. Мы можем жалеть об уничтоженных рукописях. Сам же Зиновьев о них не жалеет. Он, представьте, рад, что не стал профессиональным писателем. На писательстве он поставил крест, как ему казалось, навсегда, тем более что страсть к познанию не уступала писательской. Из привлекавших его факультетов (филологический, математический) он предпочел философский, чтобы разобраться самому в основах мироустройства, понять, что такое человеческое общество вообще и в частности то, в котором мы живем. Он успел уже к этому времени создать свои собственные «правила жития», подчиняя материальные интересы интересам духовным, отказываясь от любой социальной ангажированности. Еще в университете он исследовал теорию Маркса, подвергая ее сомнению, впрочем, как это делал и Маркс по отношению к любым авторитетам. Я уже не говорю о его сатирическом отношении к тем трудам Ленина и Сталина, философская нищета которых ему была совершенно ясна. Студент, он уже тогда имел учеников — и среди студентов, и среди аспирантов. Самым его любимым занятием были беседы с друзьями на социологические, философские и литературные темы. Мы бродили с ним до утра по пустынным улицам Москвы. И говорили, говорили. Больше — он. Я слушал.

Умер Сталин. Пробудились надежды. Но не у Саши. «Передерутся, как пауки в банке», — сказал он мне о ближайших соратниках. Скоро так и произошло. Потом наступила «оттепель». Самые бессовестные культисты стали витиями антисталинизма. Как по команде. У Саши это вызывало презрение.

Пока «внезапные свободомыслы» из философов растрчивали себя в эйфории антикультуровской болтовни, оставаясь по существу пленниками все той же, слегка перелицованной, идеологии, Александр Зиновьев продолжал исследование самых основ общества, с неизбежностью порождающего «культ» в тоталитарной или либеральной форме. Он объяснял отличие идеологии от науки, идеологического камуфляжа социальной действительности от ее научного познания. Методологического инструментария для этой работы не существовало. Он создал его сам, осуществив критическую реконструкцию логической структуры «Капитала» Маркса — задачу фантастически сложную, решение которой до той поры оказалось непосильной никому ни на Западе, ни у нас.

Восторженные ученики А. Зиновьева говорили, что он прочитал «Капитал» четырнадцать раз, чтобы выявить его логическую структуру. Зиновьев сам подсмеивался над такими преувеличениями; ради «розыгрыша» он говаривал, что вообще «не читал» ни этой, ни других книг основоположника. Что касается всех других, не знаю, но «Капитал» он проштудировал столь основательно, что его логическую структуру описал так, как, может быть, не сумел бы сделать и сам автор «Капитала». В этом нет ничего сверхъестественного. Истинный критик становится как бы соавтором писателя и, стремясь уяснить для себя, каким способом создавалась книга, объясняет на уровне вторичной рефлексии первичную рефлекссию писателя, удивляя последнего тем, что тот сам в себе и не подозревал.

А. Зиновьев отвлекался от собственно политэкономического содержания «Капитала», его не интересовали ни истмат, ни борьба труда и капитала, ни доказательство неизбежности перехода от капитализма к социализму, то есть все то, из чего последователи гениального мыслителя скроили идеологию, от которой он сам успел отмежеваться («Что касается меня, — говорил Маркс, — то я не марксист»).

Зиновьева интересовала только логика (она же диалектика, она же теория познания) «Капитала». Выявив, реконструировав ее, Зиновьев совершил выдающееся научное открытие. Затем, оперируя логикой Маркса как инструментом познания, он первый (не единственный ли?) вывел теорию «реального коммунизма», утвердившегося в нашей стране (но имеющего корни во всех странах). Диалектика «Капитала» сокрушала все догмы «марксистско-ленинской идеологии», показывая ее принципиальную противоположность науке. К счастью для А. Зиновьева, это не поняли сразу, хотя и почувствовали нечто опасное, когда в 1954 году он представил на защиту свою кандидатскую диссертацию «Метод восхождения от абстрактного к конкретному», впервые представив в стройной системе категорий диалектическую логику. Диссертацию трижды «заваливали» мастодонты Ученого совета, и трижды все они были посрамлены соискателем при дружном и радостном одобрении студентов и аспирантов, до невыносимой тесноты заполнивших зал «защиты». Это, по существу, было первое открытое выступление против господствующей идеологии, осуществленное на столь высоком теоретическом уровне, на который не сумели подняться ее противники даже в нынешнюю пору беспредельной свободы критики. Степень А. Зиновьеву все-таки присудили (дело шло к XX съезду), но — увы! — диссертацию не напечатали. Зато она стала первым произведением советского самиздата. Ее перепечатывали на тонкой папиросной бумаге в десятках экземпляров, ее изучали на закрытых (а порой и открытых) семинарах философов, методологов во многих аудиториях страны. На ее идеях сложилось несколько методологических школ. Историкам самиздата следовало бы знать об этом факте...

Можно ли А. Зиновьева назвать «шестидесятником»? Ожидал ли он, чтобы от «сна разума» его разбудил «роландов рог» Хрущева? Нет, он сам проснулся и не в шестидесятые, а в конце тридцатых годов. И в то время как многие «шестидесятники», не успев по-настоящему «продрать глаза», провозгласили «свое» смелое несогласие с тем, что было, приняв безоговорочно то, что настало, чтобы потом снова впасть в «полудрему», А. Зиновьев и в шестидесятые, и в восьмидесятые оставался верен себе, своему ясному взгляду на действительность, как и в сороковые (!), не меняя одни иллюзии на другие. Он не был ни «за» и ни «против» существующего режима, не собирался его изменять. Он был лишь «за» истину и «против» лжи: страсть к познанию мира, общества, человека, его духовного творчества в религии, философии, морали, науке, искусстве была и осталась его всепоглощающей страстью. Он был диссидентом в интеллектуальном и экзистенциальном, но не в политическом смысле слова. Это привело к тому, что его выталкивала и среда властей предрержащих, и среда действительной оппозиции, и среда либералов с «фигой в кармане». Он был обречен быть непонятым, нецененным и в этом смысле одиноким. Эти жизненные и духовные коллизии нашли отражение в «3. В.» и в других литературных произведениях Зиновьева.

Обычно, совершив крупное открытие, ученый всю остальную жизнь посвящает его разработке; Зиновьев же предоставил другим осваивать открытый им «материк». Таков был его жизненный принцип. Он мог бы сказать подобно Маяковскому: «Следующую вещь напишу, только переступив через самого себя». Его следующей вещью была логика, уже мало общего имевшая с логикой «Капитала». Так продолжалось двадцать лет. Исследования, статьи, книги, занятия с аспирантами и студентами, научные конференции. Для ученого мира он был и остался логиком, а тем временем он продолжал изучение общества «реального», а потом и «развитого социализма», используя свою собственную методологию. Об этой «подспудной» деятель-

ности мало кто догадывался, даже из близко знавших его. Зиновьев чувствовал, что его присутствие в среде коллег, осваивающих (и присваивающих) его новые логические идеи, затянулось. Надзор ГБ за его поведением, не только не содержащим в себе ничего политически враждебного, но даже примерно лояльным, запреты на творческие командировки за границу, куда пачками ездили бездари и сексоты, допекали. Наступила пора еще раз «перешагнуть через себя». Так, после тридцатилетнего перерыва он вернулся к литературе и стал автором крамольнейшей книги — «Зияющие высоты». Писалась она в экстремальных условиях. Сексоты выжидали, что Зиновьев что-то этакое пишет, хотели узнать, «застукать». Приходилось спешить. Рукопись в 600 страниц, на которую следовало, по расчетам специалистов, затратить годы и годы, была написана в полгода. На Западе книга вышла в 1976 году. Она произвела там ошеломляющее впечатление, которого, пожалуй, не ожидал и сам автор. О «З. В.» писали как о фундаментальном сатирико-социологическом исследовании советского общества, называли «дарвиновской эпопеей навыворот» (в которой происходит систематический отбор посредственностей), «гигантской притчей», «лабиринтом нового платоновского государства». Поздравляли Россию с появлением, наконец, ее собственного Свифта. Сравнивали автора также с Вольтером, Салтыковым-Щедриним и — что я считаю наиболее соответствующим дарованию автора «З. В.» — с Франсуа Рабле. «Зияющие высоты» были провозглашены «первой книгой XXI века». Прошло еще некоторое время, и книга была переведена на десяток европейских языков и стала бестселлером в Старом и Новом Свете. Литература о «З. В.» превысила ее собственный объем. Вслед за «З. В.» на Западе были опубликованы другие книги А. Зиновьева: «Записки ночного сторожа», «Светлое будущее», «В преддверии рая», «Желтый дом», социологическое исследование «Коммунизм как реальность» и многие другие. О них должен быть разговор особый, хотя все они выросли из могучего ствола «З. В.», с корневой системой, уходящей глубоко в российскую советскую почву.

Известность и слава А. Зиновьева ширилась на Западе. Эжен Ионеско назвал его крупнейшим современным писателем; по представлению выдающегося социолога Франции Раймона Арона Александру Зиновьеву была присуждена премия великого Алексиса де Токвиля. Не приняли его лишь некоторые из российской эмиграции. Его обвинили даже в русофобии. На это он ответил достойнейшей отповедью: «Признаюсь, я не испытываю чувства любви к русскому народу. Но я не испытываю к нему и ненависти. Мое отношение к нему иного качества: я принадлежу к этому народу и разделяю его судьбу. Я часть его. Я озабочен его судьбой. И потому я беспощаден в его описании, — я не хочу обманывать самого себя и моих соплеменников. Лишь те, кто оторвался от своего народа или знает о нем из вторых и третьих рук, могут позволить себе лицемерные эмоции, именуемые любовью к народу, к которому они фактически не принадлежат... Я родился и вырос в самых глубинах русского народа. Я провел в нем почти всю свою долгую жизнь. Я вместе с ним и в нем голодал, мерз, работал, воевал. Я был колхозником, студентом, солдатом, офицером, землекопом, учителем, грузчиком, лаборантом, научным работником, профессором. Я знаю этот народ и несу его в себе самом. Я отдал ему все свои силы и способности, не требуя почти ничего взамен. И, если бы мои книги могли свободно распространяться по России, русский народ ни на мгновение не усомнился бы в том, что я каждой клеточкой своего тела и своей души есть человек глубоко русский. И я очень сомневаюсь в том, что русский народ принял бы за своих всех тех, кто создает и распространяет клевету обо мне как о русофобе». («Мы и Запад». Лозанна, 1981, с. 39).

Слава Богу, книги Зиновьева вот-вот появятся в России, но его статьи и интервью, которые уже появились в некоторых наших газетах (например, в «Московском литераторе»), урезают и искажают его мысли. Одни стремятся перетянуть его на сторону «правых», другие, прогрессисты, спешат «разочароваться», пытаются представить его как «правого». А он не «правый», не «левый» и не «центрист», он сам свое «направление», «партия» и даже «суверен-

ное государство», как он сам называет себя. И сегодня им не движут никакие иные соображения, кроме озабоченности судьбой России.

Но мы забежали вперед. Вернемся к прерванному рассказу. Несколько экземпляров «З. В.» тогда же, в 1976 году, попали на родину. Власти взъярились. М. Сулов назвал А. А. Зиновьева врагом советской власти страшнее А. И. Солженицына, ибо Солженицын раскрыл тайну ужасов ГУЛАГа, а Зиновьев показал, изображая нормальную повседневную жизнь вне ГУЛАГа как такую, в которой ГУЛАГ естествен, по крайней мере на этапе рождения и становления «реального коммунизма», после чего, в период наступившей «зрелости» этого общества, с той же естественностью изобретаются несколько иные, более «гуманные» приемы подавления инакомыслов.

Пока высшие власти решали, как наказать «взбунтовавшегося» профессора, сикофанты — сотрудники академического института уже спешили от него отмежеваться. Начался позорный фарс осуждения и предания остракизму в его собственной философской среде.

Сегодня благодаря сохранившимся стенограммам мы знаем, как трусливо или подло вели себя многие именитые писатели, исключая из Союза Б. Пастернака, А. Солженицына. Точно так же вели себя братья-философы, хотя протоколы «допросов» Зиновьева, кажется, вообще не велись. Его, разумеется, изгнали из института и закрыли доступ к любой другой работе. Увы, от него отвернулись не только «консерваторы», но и его «либеральные» друзья. В романе они увидели родовые черты либералов, обиделись, полагая, что эта сатира затрагивает персонально их. И совершенно напрасно. Зиновьева интересовало социальное явление, а не конкретные лица, и он никого не хотел оскорбить. Ну, а что касается самого социального явления, то он с поразительной точностью предугадал — теперь это очевидно — эволюцию «философского либерализма».

Прогноз, надо сказать, был малопривлекательный, и либеральные друзья смертельно обиделись, порвав с ним всякие отношения (время было для этого ведь самое подходящее!).

Два года Зиновьев фактически находился под домашним арестом, ожидая решения своей судьбы: что предстоит? Лагерь? Ссылка? Тем не менее оставался бодр, продолжал работать, написал еще две книги.

А тем временем книгу читали, она становилась известной. Воспринималась по-разному: удивляла всех, как, наверное, удивила бы «летающая тарелка», если бы действительно села на Землю. От души хохотали, радовались одни, иные «тонкие ценители» искусства, прилагающие ко всему новому «меру» затверженных некогда эстетических норм и правил, — отвергали за «непохожесть», нагромождение «курьезов», за «грубость», «цинизм», за погруженность в сферу материально-телесного низа. (За это же самое М. Бахтин возвеличил Рабле, а А. Лосев назвал его «гадким»).

Были читатели, которых захватила не только сатира на общество, на лжеученых и поэтов, но и трагический голос гения, обкарканного пигмеями. Среди них академик П. Л. Капица и Н. Я. Мандельштам, которая пришла к Зиновьеву и, прижимая «З. В.» к груди, сказала: «Это моя книга, я ее так долго ждала и думала, уже не дождусь. Слава Богу!»

Более всего Зиновьев боялся, что его выгонят из России. Произошло именно это. Трусливая высылка, ибо указ Брежнева о лишении его гражданства, боевых наград и научных степеней и званий, заготовленный заранее, был обнародован лишь после того, как он прилетел в Мюнхен с советским паспортом прочесть (по приглашению) курс лекций по логике.

Прошло 12 лет, как он живет в столице Баварии, тепло принявшей бывшего русского фронтовика. Стоит ли говорить, что то, что он испытывает по отношению к Родине, — это не просто ностальгия. Недавно указом президента М. С. Горбачева ему было возвращено советское гражданство. И опять-таки радость Зиновьева была омрачена тем, что его согласия не спроси-

ли, перед ним не извинились. Как отобрали, так и вернули, как будто сам он тут ни при чем, как будто речь идет не о человеке — о вещи.

Теперь немного о самом произведении. Почему я назвал его сияющей высотой словесности? Под словесностью я мыслю безымянное народное творчество, вплетенное в жизненный процесс. Это фундамент литературы. Вырастая из нее, литература «порывает» с культом и бытом, становится их познанием, концентрацией и хранительницей религиозных, моральных, поэтических смыслов человеческого существования. Словесность, фольклор — искусство внутрижизненное, литература — автономное, самозаконное. Приобретая независимость от общенародных, массовых форм жизнедеятельности, становясь творчеством свободного индивида, литература в то же время вынуждена подчиниться условностям, правилам, канонам, стилевым требованиям, культурным традициям определенной эпохи. В XX столетии литература претерпевает изменения самые радикальные за всю ее историю: она как бы возвращается в жизнь, сливается с устным словесным творчеством. «Зияющие высоты» — пример такого слияния. Зиновьев выступает здесь в двух ипостасях: и как анонимный современный «сказитель», и как индивидуальный автор литературного текста. Каждый свой разговор, на бытовую или научную тему, Зиновьев превращал в словесный шедевр, в котором перемешивалось высокое и низкое, серьезное и смешное. В живом общении он сочинил и «исполнил» многое из того, что потом вошло в «3. В.».

Словесная постройка гигантского повествования воздвигается непрерывными разговорами, громоздящимися друг на друга.

Перебранки, треп, болтовня, споры, прения, полемики, дознания образуют разговорный каркас социальной организации. Они создают иллюзию гибкости, подвижности структуры, структуры на самом деле жесткой и неизменной. Им противостоит ДИАЛОГ — свободный обмен идеями, а не мнениями, духовное взаимообогащение собеседников, поиск, а иногда и обретение истины.

По самооценке А. Зиновьева, «3. В.» — социологический роман (не путать с социальным), поскольку в нем органически слиты научно-социологическое и художественное познания. Действительными героями книги, по утверждению автора, являются не люди, а социальные законы — грязные и жестокие ничтожества. А персонажи романа, которым автор взамен имен присвоил названия по их социальной роли (как она воспринимается средой), используются всего лишь как материал, из которого «лепят» разнообразные лики социальности. Особенностью «3. В.» является также видовая, жанровая, стилевая полифония (проза и поэзия, раешник и элегия, натурализм и сюрреализм, научный стиль художественного мышления — по-моему, нововведение автора — и абсурдизм).

И все-таки, как мне кажется, художник в Зиновьеве берет верх над ученым. Хряк, Заибан, Мыслитель, Претендент, Социолог, Неврастеник, Брат и особенно Шизофреник, Клеветник, Болтун и Мазила — не только социальные маски, но и живые лица, хотя и предстают перед читателем всего лишь как «система фраз».

«Зияющие высоты» — не только сатира, но и трагедия. Сатира — это об обществе, о том в людях (пусть самых достойных), что принадлежит социальности; трагедия — о человеке, сущность которого не исчерпывается совокупностью общественных отношений.

Главная проблема «3. В.» — проблема личности, ее свободы. Она — движущая сила сюжетостроения.

Если на известной картине Делакруа библейский Иаков боролся с самим Иеговой в образе ангела и победил, то положительный герой «3. В.» — «богоподобный» человек — борется с Дьяволом Социальности и терпит поражение: он стоит в очереди — в крематорий, надпись над которым гласит: уходя, заberi урну со своим прахом с собой.

Ибанск — символ общества, враждебного личности, ее свободе.

«Чего хочу? Какую нить я рву?

Куда иду? Какую радость рушу?

Свобода — шаг от камеры ко рву.

Бессмертье — червь, в мою ползущий душу».

Гибель гения есть не эпизод, а суть этого общества — последнее, что пришло ему в голову. («3. В.», Лозанна, 1976, с. 533).

В «3. В.» А. Зиновьев создал образ нового трагического героя, который выступает перед читателем то как Шизофреник, то как Клеветник, тот как Болтун, то как Крикун; иногда его черты обнаруживаются в других, даже второстепенных персонажах, например, в посетителе мастерской Мазилы. Читатель сам синтезирует их в одно лицо — в человека универсальной одаренности.

Этого «распятеренного» главного героя «3. В.» можно было бы назвать «лишним человеком» и тем пополнить череду «лишних людей» русской литературы. Он действительно таков, правда, с приметным отличием от своих предшественников первой половины XIX века; те — богатые натуры — не знали, куда себя деть, томились бездельем, им не к чему было приложить свои силы и, презирая общество, они все-таки нуждались в нем. Герой Зиновьева, напротив, разносторонне деятелен, он поглощен исследованием общества, открывает законы, управляющие социумом. Герой Зиновьева мог бы быть полезен обществу. Но именно за это общество выталкивает его в никуда. Тут достигнут предел взаимоотношения: «лишний человек», с одной стороны, и «лишнее общество» — с другой.

И все же без новых «лишних людей», без этих пасынков и изгоев, это общество не могло бы существовать, и, слава Богу, они возникают в нем снова и снова.

Трагедия индивида не как бытовая, семейная, а как общесоциальная, метафизическая и космическая никогда не была изображена с такой достоверностью, с такой болью и состраданием, как в великой русской литературе XIX и XX столетий. И это, как правило, сопровождалось трагедией ее творцов. Александр Зиновьев — один из них.